



АНДРЕЙ ДОБРОВ

# БАСУРМА

БОРИС ГОДУНОВ ВСТУПАЕТ

Андрей Добров

**Басурманка**

«Издательские решения»

**Добров А.**

А. Добров — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-747272-6

Москва конца XVI века. Сыщик Разбойного приказа Мануйло Хитрой, расследуя обычное убийство, оказывается втянут в сложную политическую интригу. Параллельно с ним расследование ведет никто иной, как будущий царь Борис Годунов.

ISBN 978-5-44-747272-6

© Добров А.  
© Издательские решения

## Содержание

Глава 1. Мертвая татарка	6
Глава 2. Лебеди Малюты Скуратова	11
Глава 3. Ночной богатырь	15
Глава 4. Стрелецкая вдова	19
Глава 5. Помощники	24
Конец ознакомительного фрагмента.	28

**Басурманка**  
**Борис Годунов вступает в игру**  
**Андрей Добров**

© Андрей Добров, 2016

*Корректор* Андрей Добров

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Глава 1. Мертвая татарка

Халат задрался, открывая полосатые шаровары. Рот молодой татарки был широко открыт, глаза выкачены, платок на голове почернел от крови.

В такой вот последний ясный денек бабьего лета сидеть в сырой темной мертвецкой и смотреть на мертвячку!

– Ну, показывай, – попросил Хитрой.

Мертвецкий старшой Нил Сорока принес факел и воткнул его между бревен – там, где выкрошился мох.

– Гляди, Хитрой! Мне ее сегодня утром принесли из Кадашей. Местные оболдуи в кустах нашли. Вот, видишь, – старшой присел, двумя руками бережно поднял голову мертвой, – кто-то ей башку проломил.

– Господи, помилуй, – ответил Мануйла, перекладывая трость из правой руки в левую и крестясь, – Обычное, между нами говоря, теперь дело на Москве. Снасильничали, небось, да и по голове прихватили. Им все равно – басурманка, православная – как кабак на Балчуге открыли, так народ совсем оскотинился.

– Не, – возразил старшой, – не снасильничали. Тут такое дело – почему я тебя позвал... Глянь сюда.

Старшой жестом подозвал помощника. Тот еще выше задрал татарке халат, а Нил стянул с нее шаровары, обнажив пах и белые ноги.

– Ого! – удивился сыщик, – да ведь эта баба – мужик!

– Не просто мужик, – удовлетворенно ответил старшой, – басурман. Обрезанный.

– Ну да, – покивал Мануйла Хитрой, – агарянин, как есть.

– Татарва, – гнул свое Нил.

– Да прикрой ты его! – сказал сыщик, кривясь, – я уж насмотрелся. Лицо ему умой и оставь – пусть дня два-три полежит. Может, родственников отыщем. Где, говоришь, его нашли?

– В Кадашах, на окраине. Смотри дальше.

Нил откинул платок, затвердевший от крови. Вместо черных кос открылась бритая голова со страшным проломом, в котором желтели осколки черепа.

– Голову ему пробили. Но тут вот... видишь? – Нил снова приподнял голову мертвеца и Мануйла нагнулся к нему. На плохо выбритом черепе застыла кровь, – Смотри. Сначала кровь текла сюда, к затылку. А потом – обратно, ко лбу. Что это значит?

– Что?

Мануйла заинтересовался по-настоящему. Он ждал, что скажет старшой. Нил Сорока в свое время гремел по всей Москве и по уделам – пока за что-то не провинился, да так, что из Разбойного его поперли, и дальше мертвецкой не пускали.

– Лет восемь тому назад, прямо на чистый четверг, нашли мы одного мертвяка. Худой такой мужичонка, помню, в одной рубашке на снегу валялся... Лежал он аккуратно у ворот одного двора по Рождественскому переулку. Ну, понятно, начали с соседей – кто чего видел. Водили их к мертвецу – кто узнает... Узнали. Говорят – калачник с Кулишек. Видели, как он ссорился с хозяином того дома, подле которого лежал. А хозяин тоже – калачник. Сначала я подумал, может они чего не поделили? Может место торговое, может еще чего. И один другого завалил. Ну, конечно хозяина двора – в пыточную. Нынешний пыточник Лобан тогда еще только из подмастерьев вышел, но уже считалось – далеко пойдет. Взясся за дело споро, а калачник – в отказ. Так бы и запытал до смерти. Но тут Великий Пост начался, и от греха просто упекли до времени на губу. А на вторую неделю поста нашли другого свидетеля. Пьянчуга он был, и вместе с покойным в масленицу надирался у того дома. И пьянчуга этот

указал на своего соседа, который при нем убил, а потом тело перетащил – чтобы на него не подумали.

– И что ты мне это рассказываешь? – спросил Мануйла.

– Вот там тоже – кровь сначала текла в одну сторону, а потом – в другую. Так что твоего татарина сначала убили, но лежал он недолго – крови натекло чуть-чуть. Вот тут видишь? А потом его перевернули. Или переложили.

Нил сполоснул руки в черной от сырости бадье и тщательно вытер их серым полотенцем.

– Кстати, калачник тот из тюрьмы вышел, да дома застал свою жену с немцем. Взял топор и зарубил обоих. Так что снова к нам попал.

– И что?

– Да сгинул где-то. Давно было. Не помню.

Мануйла и Сорока вышли из мертвецкой. Береза, стоявшая во дворе, трепетала желтыми осенними листочками, сквозь которые ясно голубело небо, стая грачей беседовала на крыше, воздух густо пах прелой листвой и дымом – москвичи жгли кучи опавших листьев.

– Последние деньки тепло, – сказал Мануйла.

– Это хорошо, что последние, – отозвался Сорока, – А то у нас лед почти весь истаял. Скоро мертвяки завоняют. Прямо хоть со своего ледника тащи.

Мануйла вздохнул, подал Нилу руку на прощанье и пошел к своему коню, помахивая тростью, взбивая кованым кончиком сухую осеннюю пыль.

Уж, казалось бы – не ему любить этот город, не человеку его рода, его воспитания, его крови. Но что тут поделаешь – хорошо он чувствовал себя на Москве, легко и привычно. Давно бы уж съехал он с Лубянки, где десятилетиями тлела гордость псковская и новгородская, пересаженная на московскую землю, но жаль было бросать отцовский дом. Да и на Лубянке гордость псковская раздувалась втихую только стариками – скоро они все перемрут, а дети их и внуки даже и не будут вспоминать злости на Москву, ставшую их новым домом.

Отец рассказывал, что много лет назад Великое княжество Литовское было вторым по величине и силе центром русской земли и успешно спорило с Москвой. С Новгородом и Псковом у литваков были особые отношения – новгородцы хорошо помнили, как литовский князь Довмонт защитил Новгород. Потому, говорил отец, Москва всегда смотрела на Новгород и Псков как потенциальных перебежчиков. На Москве литовским князьям часто припоминали глупость их князя Остея, который открыл Тохтамышу ворота Москвы, хотя и взялся защитить город в отсутствие Дмитрия Донского.

Три великих московских князя – дед Иван, отец Василий, да и сам Иван Васильевич держали Новгород со Псковом в ежовых рукавицах. Время от времени переселяли тамошних людей в Москву, а на их землях сажали своих бывших холопов – так они надеялись вырастить на северо-западных вольных землях твердых сторонников.

Отца Мануйлы со всей семьей перегнали в Москву из Пскова еще по приказу Василия Ивановича. Тот, как и отец его – Иван Васильевич Пскова и Новгорода не любил. Северо-западные богатые города хоть и были русскими по вере и законам – все больше тяготились московской властью. Как и остальных псковитян, отца поселили к северу от московского кремля – на Лубянке. Здесь почти поколение назад уже селились новгородцы, которые и дали название улицы – по имени своей, новгородской Лубяницы. Переселенные новгородцы на своих братчинах кляли деда – Ивана Васильевича. Псковские переселенцы втихую проклинали его сына – Василия Ивановича, брюзжали и держались вместе – обиженные

на Москву. Им все здесь не нравилось, все вызывало нарекания. Да и сами москвичи платили им спесью и обманом. Торговые места «пскопским» либо вовсе не уступали, либо заламывали за откуп такую цену, что торговать было себе в убыток. По ночам в переулках часто вспыхивали драки – это московские молодцы ходили бить своих псковских сверстников, а те им отвечали «взаимностью». На Масленицу «пскопская» стенка выдерживала самые злые атаки московских кулачных артелей – поломанных, а то и убитых среди лубянских всегда было вдвое больше. Только лет через десять вражда эта потихоньку сошла на нет, и Москва начала неспешно переваривать большой псковский кусок, который затолкал в ее горло Василий Иванович.

Ондрей Нежданов, водивший в битвах псковский засадный полк, после переселения не дрался, ни бражничал. Он вообще почти не выходил со своего маленького московского двора. Рано похоронив жену, умершую во время мора, он растил Мануйлу сам – с раннего возраста учил науке благородных – стрелять из лука, управляться с саблей и рогатиной. Учил также палить из пищали, хотя огнестрельное оружие у настоящих воинов по-прежнему было не в чести.

Учил он также читать и писать по-русски и по-гречески. Для этого нанял попа Иосафа. Божий старичок вразумлял Мануйлу по святым книгам, но часто кашлял и скоро помер от этого. Однако лаской, сочетаемой с подзатыльниками, сумел провести ребенка от «аза» хотя бы до «покоя». Дальше – от «покоя» и до самой «ижицы» Мануйлу учил друг отца, дворецкий князей Курбских Инша Рудаков – тоже из «пскопских», но только оборотистый и хитрый человек. Учил не за деньги, а по дружбе. В то время, как лубянские подростки все еще дрались со всем миром, Мануйла махал тяжелой отцовской саблей, да читал Священное писание и макарьевские Четвы-Минеи. Зато из всего второго поколения жителей Лубянки, только один Мануйла взлетел так высоко. По отцу его звали Мануйла Ондреев. На службе дали прозвище Хитрой – то есть, умный.

Отец незадолго до смерти, как это было принято, постригся в монахи в Рождественский монастырь, но иночествовал месяц, не выходя уже из кельи. Скоро Бог прибрал его печальную сиротскую душу. Он преставился, оставив все хозяйство на Мануйлу.

После смерти отца Хитрой хотел было жениться, но не получилось – невеста, выбранная еще отцом – из такой же знатной псковской семьи, переселенной в Москву, сбежала с муромским купцом. А потом Хитрой все откладывал и откладывал это важное дело. Так до тридцати и привык жить холостым, и менять что-то серьезно в жизни больше не хотел. Время от времени случались в его жизни увлечения – мужчина он был видный, обеспеченный, а значит привлекательный. Влюблялись в него пару раз и настоящие красавицы, но как представит Хитрой, что в его дворе поселится такая вот хозяйка, как начнет под себя причисывать неспешный мужской уют, как начнет перековывать характер мужа под свои запросы – так тоскливо ему становилось, что шел он к девкам (если не пост, конечно), удовлетворял свои мужские желания, и на этом временно успокаивался.

После смерти отца сосед сосватал его в Разбойный приказ – через знакомого подьячего. Там требовались люди умелые, сильные и умные. Сыщики-обыщики в Разбойном приказе были главными оперативными работниками. Как правило, из московских дворян или дьяков – тех, кто поголовастей. Обычно сыщиков посылали в другие города или села, если в них случались преступления, выходящие за компетенцию местных губных властей. Или когда местные власти не могли раскрыть сути дела. Обычной практикой сыщиков был повальный обыск. Всех жителей села одновременно сгоняли в одно место и те ждали, пока приезжий сыщик с местными старостами и целовальниками, то есть, помощниками, целовавшими крест на честную службу, обыщут каждый дом в поисках краденого. Если этот метод

не давал результатов, начинали допросы. Потом – перекрестные допросы. Делали подозреваемым очную ставку – то есть, выставляли очи к очам со свидетелями.

Высокий, полный, с вьющимися темными волосами, небольшой бородкой и серыми глазами, Мануйла Хитрой был добрым человеком, несмотря на свою профессию. Может быть, поэтому ему удавалось делать то, что остальные не могли. Там где другие брали горлом и нахрапом, Мануйла действовал тихо, просто разговаривая с людьми. Бывает, нагрянет наряд из Разбойного в какую-нибудь слободу – местные тут же пугаются, начинают гордиться Бог знает что, путаться в показаниях. Тогда Мануйла подсядет к страдальцам и заведет с ними беседу про житье-бытье. Слово за слово – мужики отойдут, распрямят спины, расслабятся, и все выложат как на ладони. Другие сыщики из Разбойного эту манеру Хитрого знали и специально начинали сразу орать, грозиться, нагонять страху на мужиков, чтобы они потом Мануйле под спокойный разговор все как на исповеди выложили. Многие, даже из Разбойного, думали, что он так себя на обысках ведет специально – мол, играет так, как кошка с мышами. А сам-то Хитрой – думали некоторые – уж на что ласков, но сам-то внутри как хорек хищный – зацепит и сожрет. Но они ошибались. Хитрой с самого начала своей работы в Разбойном вел себя точно также.

По молодости Мануйла брался за любое дело и пропадал на облавах, да сысках. Но прославился он на всю Москву после дела с разбойником Копырсаем, который шалил вокруг Сущева села. Кстати, за это-то дело и получил он прозвище «Хитрой», то есть – умный, догадливый. Местные губные власти гонялись за Копырсаем, устраивали на него облавы, трясли всех нищих и случайных, неожиданно приходили с обысками в дворы, где его вроде как видели, и даже посулили в награду рубль серебром. Но неуловимый Копырсай как сквозь землю проваливался. Набежит на прохожего на лесной тропинке, обдерет как липку, да еще и побьет пудовыми кулаками. Или остановит бабу с узлом. И тоже – припечатает так, что баба потом неделю в платок кутается, чтобы никто синяков и шишек не видел. Пару раз даже телеги с товаром брал – если от обоза отставали.

Наконец жителям надоела вся эта чехарда, и они поверх голов своих губных, принесли жалобу в Разбойный приказ. А там, чтобы не ссориться с другими земскими властями, решили послать молодого Мануйлу со строгим наказом – слушаться губных, самому в дело особо не вступать. Ну, как бы опыта набираться у местного губного старосты Никиты Прядунова, который хоть особо и не отличился на своем месте, но был человеком услужливым и понятливым.

Прядунов Мануйлу встретил неласково – было понятно, что внимание Разбойного ему не понравилось. Сначала он попытался приезжего сыщика усладить по-доброму, потом спойть, а там и вовсе вышел из себя, накричал и приказал возвращаться, откуда приехал. Но Мануйла не испугался грозного крика Сущевского головы, а стал ходить по дворам и болтать со всеми подряд. Не только с теми, на кого нападал когда-то Копырсай, а просто со всеми, собирая даже самые глупые подробности, слухи и байки. В результате выяснилось, что молва почему-то приписывает разбойнику длинную рыжую бороду. Потерпевшие как раз со страху не могли вспомнить, какого цвета, длины или формы была эта треклятая борода, но вот люди досужие твердили, что борода рыжая, длинная и топорщивая. «А что, – подумал Мануйла, – дыма без огня не бывает. Может, кто ненароком увидел разбойника, когда тот возвращался с добычей? А может и свои проговорились – те, кто его укрывал, кто кормил и давал ему кров».

Мануйла начал проверять всех рыжих, но поскольку в Сущеве рыжих было – раз, два и обчелся, то и тут ничего у него не получилось. Мало того, Прядунов ходил часто за Мануйлой по пятам и высмеивал. Кончилось тем, что местные стали запирают перед ним калитки, не желая все-таки ссориться с Прядуновым. А кончилось дело неожиданно быстро. Мануйла собрался уже было возвращаться не солоно хлебавши в Москву, но тут его кобыла захро-

мала. И он нанял местного с телегой. Было жарко, и мухи облепили круп мерина. Мануйла долго не мог понять, почему бедная животина терпит, почему не гонит мух, и вдруг понял – а гнать-то нечем! Не было хвоста у лошади. Кто-то отрезал его чуть не по самую репицу! И мерин был, кстати, рыжий. Ну, молодой сыщик и спросил у своего извозчика – зачем тот отхватил хвост лошади. А извозчик объяснил, что это не он. Что он мерина уже таким купил. Совсем немного отдал – коник хороший, даром, что бесхвостый, зато еще сильный и вполне способен и телегу, и сани таскать. Мануйла же поинтересовался – у кого купил? И выяснил, что месяца два назад был этот мерин куплен со двора никого иного, как самого губного старосты Никиты Прядунова.

Подумал Мануйла, да и устроил слежку за самим Никитой. Странная это была слежка – друг за другом. Но только однажды ночью Мануйла подстерег-таки губного старосту, когда тот задней калиткой выскочил с сумой через плечо. Последовал за ним, скинув сапоги – чтобы не топтать. А ночь была холодная, чуть ноги не отморозил в одних вязаных чулках. Зато увидел, как у дороги под старой сосной Прядунов вынул из сумки рыжую бороду из конского хвоста с веревочками, чтобы удобнее было подвязывать, да шляпу с широкими полями – атрибуты татя Копырся.

На следующее утро Мануйла был уже в приказе – все рассказал своему старшему – Акулину Бусинову. Взяв стрельцов, сыщики нагрянули к Прядунову и перевернули его дом вверх дном. Самого же связали и в амбаре немного побили. Скоро отыскалась и сума с бородой, и многие пропавшие вещи. Вот так губной староста сам грабил прохожих, а потом скидывал бороду со шляпой и сам же начинал поиски «неуловимого» вора!

Прядунова свели в московскую губную избу, а вещи раздали ограбленным.

За раскрытие «рыжего» Мануйлу наградили кафтаном с золотыми пуговками, и целую неделю на его двор ходили слуги из боярских дворов с кушаньями, которые посылали ему со своего стола бояре, да боярыни. С того звездного часа Мануйла провел уже много дел, но больше никогда не было такого, после которого вся Москва обсуждала ловкость сыщика Хитрова.

Став постарше, Мануйла и сам поуспокоился, старался ночевать дома, в своей постели, а поездки в другие города принимал как кару небесную.

## Глава 2. Лебеди Малюты Скуратова

«Ах ты, сучий сын! Сидишь тут, чуть не развалюсь! Ирод Царя небесного, Навуходоносор! Кровопийца. Сколько кровушки-то выжал из новгородцев, вон, как будто упырь сытый, довольный. Так и кажется – дай ему подзатыльник, изо рта кровищей так и харкнет! Дракул!».

И капля пота сползла по бледному бритому виску, впиталась в седые прямые волосы плотной бороды на щеке. Хриплый голос турецкого посла гулко отдавался под сводами. Потом он умолкал, и начиналось бормотание толмача. Иван Федорович не вникал в слова. Он сосредоточено смотрел прямо перед собой.

Вот уж видно – опричнина совсем взяла верх над земщиной. На Новгород царь повел не земское войско, а своих кремешников. А потом вдруг казнил земского печатника князя Висковатого. Как будто мало ему крови было в Новгороде. До сих пор снится иногда, как Малюта острым тонким ножом отрезает, повешенному за ноги Висковатому ухо, а потом чернорясые опричники как мясники срезают с него, визжащего как свинья на закланье, по кусочку – до костей, пока на веревке не закачался окрававленный скелет.

Мстиславский покосился вправо. Там на небольшом золотом троне сидел Иван Васильевич всея Руси. Лицо отрешенно лоб наморщен. Не слушает. Тоже думает. О чем?

Вот, тебе, Иван Михайлович, блестящая карьера – из дьяков в бояре. Хранитель царской печати, глава Посольского приказа! А его – за ноги и – как барана на рынке – мясо с костей скоблить! А ведь каким усердным был ревнителем законов и старины! Все воевал против фряжских художеств – мол, не так Христа пишат, не так Богоматерь – не по-византийски...

Он, Мстиславский, достаточно насмотрелся казней. И сам не один десяток людей послал на муку. А то и сотни. А все же на этот раз земскому боярину, знаменитому воеводе, врага не боявшемуся – ни татар, ни немцев – было страшно – показалось, что вот так скоро и его, Гедеминовича, царского родственника, повесят за ноги на площади, а то и растянут грудью на толстом мокром бревне, прижмут руки коленями. Палач волосатыми пальцами залезет в рот и крепко ухватит за дрожащий язык.

Мстиславский покосился влево. Там сидел высокий плотный человек с коротко подстриженной русой бородой. Одет был дорого, но неброско – кафтан фряжской тонкой ткани, жемчужного цвета, да зеленые шелковые штаны, заправленные в низкие красные сапоги. Взгляд его серых глаз, опущенных вниз, был тяжел – удивительно, как только пол не гнулся. Человек почувствовал внимание Мстиславского, поднял глаза и улыбнулся. Очаровательная улыбка царедворца совершенно преобразила его тяжелое лицо. Мстиславский улыбнулся в ответ так же приветливо. Царь покосился на них, заметил это нарушение благолепия, но не стал хмуриться, а ласково погрозил пальцем князю Мстиславскому и своему опричнику Малюте...

Внешне выглядело все так, будто отец добродушно пожурил двух любящих братьев, которые на всенощной случайно задремали.

Казалось бы – уж насколько дед его, тоже Иван Васильевич, ограничил прежние вольности, под угрозой казни запретив отъезд от своего двора! Раньше любой мог покинуть службу при своем князе и уехать к другому в поисках лучшей награды и доли, причем, сохраняя свои вотчины за собой. А внуку и того мало – сначала составил список из тысячи наиболее преданных своих слуг и раздал им земли вокруг Москвы – чтобы при необходимости могли быстро собраться на Москве. А потом и вовсе создал опричнину – по образу лати-

нянских рыцарских орденов, члены которой служили только ему, не слушаясь ни князей, ни бояр, ни митрополита. И всю страну свою разделил на опричнину и земщину.

Казалось, поначалу, пошутил царь – опричниной называли вдовью часть наследства. И слова-то сначала смущались – думали, Иван Васильевич сказал, но он-то кто! А мы – кто! Назовешь его слуг опричниками, так и, вроде оскорбишь. Но потом прижилось.

Умные люди говорили, что раньше была у царя мысль улучшить порядки по всей земле русской, дать всем более справедливые законы. Но только потом понял, что на всю землю, всю земщину при ее косности милости царской не хватит. Потому и решил собрать некоторые земли опричь, раздать своим верным людям, чтобы хоть там... А что в результате?

Вот, говорили люди, не зря отказался царь в Кремле жить – приказал выстроить за Неглинной себе опричный дворец на Ваганькове, где раньше псаря царские дворы держали. Псарей выселил на Пресню, дворы их снес и выстроил свои палаты, окружив их стеной. Так и со всей Россией – ломал старое, строил новое. Ну, с псарями – ладно, съехали они на телегах со всем скарбом, новую слободу себе поставили, ту тоже Ваганьковым назвали. А как быть другим переселенцам с опричных теперь земель? Их-то сгоняли в разные концы земли, от дедовых могил, от обжитых и намоленных мест, от привычных святынь, от своих приходов, от братьев своих и родственников – дальних и близких. От этой обиды, от того, что бросил отец часть своих детей и приблизил другую часть, возникла эта нелюбовь земщины к опричнине. И презрение опричнины к земщине – как к людям, недостойным царской особой любви. Да и по клятве опричной, новым царским слугам не дозволялось с земскими ни водиться, ни даже разговаривать. Зачем – понятно, чтобы земские не подкупили, не разжалобили, не сбили с пути. Хотя, конечно, разговаривали, если с глазу на глаз – ведь по одной земле ходили. И разговаривали, и дела имели – если только не касалось это все царской службы.

Потому, хоть и улыбался фактический глава земщины Мстиславский опричному боярину Скуратову, но не было в этом ни радости, ни примирения – будто не улыбались, а скалились они.

Три часа спустя после приема послов, Скуратов-Бельский сидел в кресле, на берегу пруда в своем саду и кормил лебедей, отщипывая от булки крохотные кусочки. По песку дорожки зашелестели шаги.

– Здравствуй, Григорий Лукьянович, – с ласковой улыбкой сказал подошедший. На вид ему было лет двадцать. Одет он был в малиновый шелковый кафтан с красивыми переливами. Длинные рукава подобраны, на руках – светло-коричневые перчатки тонкой лосиной кожи.

Скуратов повернулся к пришедшему, и протянул руку. Молодой человек поспешно стянул перчатку и пожал руку боярина.

– Садись, зятек, – сказал Скуратов-Бельский и указал на низенькую скамейку, покрытую мягкой плоской подушечкой. Пришедший сел. Малюта осмотрел своего собеседника – да уж, зять ему попался с виду неказистый – роста небольшого, лицо круглое, татарское – темные немного раскосые глаза, нос немного отвислый, некрасивый. Все лицо – и высоко поднятые брови и опущенный уголки губ, складывались в удивленно-надутую гримаску, как будто молодой человек с рождения был обижен на Божий свет. Пухлые щеки, обрамленные редкой черной бородкой, дополняли этот образ вечного ребенка. Но Григорий Лукьянович знал, что не стоило уж больно доверять этой припухлости – гость его был молодец, но с хорошими задатками – предан, неглуп, а главное – действительно обойден судьбой.

Звали его Борис Годунов и был он племянником боярина Дмитрия Ивановича. Год назад посватался и взял замуж дочку грозного Малюты. Скуратов быстро оценил рвение выйти в люди молодого рынды, носившего за Федором Ивановичем всего лишь рогатину,

то есть, бывшего в последних рядах телохранителей царевича, который и царем-то никогда не станет. Да и зачем Федору Ивановичу рогатина? Царевич были тихий, спокойный, воспитывался в стороне от Двора, не то, что его старший брат Иван Иванович – будущий государь всея Руси.

Но, несмотря на отсутствие перспектив при Дворе, Годунов Скуратову нравился – среди приближенных царя и царевичей было много искусных льстецов, но мало людей практических, деловых. Большинство умело работать языком, но вот головой пользовались только для того, чтобы шапку носить.

– Ты, Боря, я думаю, занят не сильно при царевиче?

– Да. Сижу без дела, маюсь, – ответил Годунов, осторожно примостясь на скамеечку. Он нервничал каждый раз, когда тесть вызывал его к себе. Но сегодня – особенно. Боялся, что Григорий Лукьянович спросит – когда же дочка понесет от мужа? Год уже замужем, а все бесплодна. Кто виноват?

Но разговор повернулся в другую сторону.

– Хочу дать тебе одно дело, – равнодушно сказал Скуратов, бросив корочку покрупнее своему любимцу – лебедю Мафусаилу, прозванного так за старшинство, – Дело не сложное.

Годунов кивнул.

– Видел сегодня Ваньку Мстиславского. Сидел весь потный, губы тряслись. Нервничает после казни Висковатого. Ждет своей очереди. Хоть он и приходится царю племянником, да только если Иван Васильевич своего брата не пожалел, то и племянника может не пожалеть. Так?

– Так, – ответил Годунов. Он сначала не понял, о ком идет речь – что за Ванька? И только потом догадался – Ванькой Скуратов назвал земского боярина, старика Ивана Федоровича Мстиславского.

– Говорят, что Ванька – человек простой, военный, заговоры плести не умеет. Служит царю и точка. Ты веришь? – спросил Скуратов, взглядывая в глаза Годунову.

Годунов тут же опустил глаза.

– Верить людям – не моя служба, – мягко ответил он, – Верю только Господу, который сказал – по плодам их узнаете их.

Скуратов перекрестился кусочком булки и кинул ее лебедям, которые теснились почти у его сапог, шипели и били крыльями, брызгая грязной водой во все стороны.

– Тихо вы! – прикрикнул Малюта на лебедей. А потом, снова обернувшись к Борису, кивнул, – Хорошо сказано. Вот только от худого дерева плодов нам не надо. Худое дерево в костер кидают. Слухи о своей простоте он сам и распространяет. А что там зреет в голове Мстиславского, я не знаю, но чую, что ничего хорошего. Не дай бог сорвется, что-то устроит против меня. От себя беду начнет отводить – и на меня наведет. Так уж было, ты не знаешь... Поэтому приходится мне теперь за каждой мелочью внимательно следить. Что необычного происходит на Москве – сразу мне докладывают. Обычно – так – чепуха. Но бывают и позаковыристые истории происходят. А мне недосуг все самому проверять. Да?

– Уж конечно, – горячо кивнул Борис.

– Вот донесли мне, что в мертвецкую при Разбойном приказе привезли мертвую татарку. Кто-то ей голову пробил. А когда обмыть хотели, оказалось – не баба, а мужик. С чего это татарину бабой переодеваться?

– Может Девлет-Гирей своего разведчика подослал? – спросил Годунов, – Говорят, он войной на Москву собирается.

– Может, – кивнул Малюта, – а может и что другое. Это дело поручат одному малому из Разбойного. Зовут его Мануйла Хитрой. Хороший сыщик, степенный. Поговори с ним, познакомься. Припугни, если надо. И проследи – что он там вынюхивать будет. Если что найдет – мне доложишь. Понятно?

– Хорошо, Григорий Лукьяныч, – ответил Годунов, вставая.

– Справишься?

– Расстараяюсь.

– Ты чего вскочил? – спросил Скуратов, – Уже побежал думать?

Годунов улыбнулся и снова сел.

– Как дочка моя, еще не в тяжести? Плохо стараешься – гляди, отниму, – погрозил пальцем Скуратов и кинул последнюю корочку лебедям.

– Это уж как Бог даст, – ответил Годунов. Его улыбка стала чуть напряженной. Все-таки спросил, змей, – да и не успели бы мы. Венчались всего как три месяца.

– Ну, – засмеялся Скуратов, обнажая кривые передние зубы, – Это уж как стараться. Может тебе снадобий дать? Мы тут ворожею на дыбу вздернули – так она все предлагала нам заговоры сделать – чтоб стоял всю жизнь! Во как! Всю жизнь! Это что ж – меня и соборовать с торчащим хером будут? А, кстати, – вдруг перестал смеяться Малюта, – если уж мы про это... правда, что царевич Федор к твоей сестре подкатывается?

– Федор Иванович? Оказал мне честь, обратил внимание на сестру мою. Они ведь вместе росли.

– Это хорошо, Боря, – веско сказал Скуратов, – Подумай как следует. Пусть Федор и не станет царем, однако, он царевич.

Годунов молча склонил голову. Ирку было жалко – отдавать ее хлипкому и малость сумасшедшему Федору не хотелось. Лучше уж она стала бы женой думского дьяка или придворного Ивана Ивановича – глядишь, судьба бы ее устроилась куда как лучше, чем если бы она осталась с Федором и сидела в тереме где-нибудь в Угличе.

Он не мог даже подозревать, что пройдет десять лет и Ирина станет женой Федора, сам Федор после смерти наследника Ивана окажется наследным царевичем, а он – Борис, будет именоваться правителем России, по влиянию своему далеко превосходя будущего царя, последнего из рода Рюрика.

### Глава 3. Ночной богатырь

Как-то раз он поспорил с одним ливонцем. Тот говорил, что Москва только кажется большой, потому что люди живут в ней не домами, как в европейских городах, а дворами. И в каждом дворе несколько построек – амбар, погреб, конюшня да кухня. Так-то так, но чем ближе к Кремлю, тем теснее строились дворы. А в самом Кремле иногда было даже не протиснуться между высокими частоколами и резными воротами.

Город рос сначала на восток – Китай-городом. Потом пополз в Занеглименье – за речку Неглинную. И только потом перелез через три Садовые слободы и врос в заречные поселения – Овчинники, Кадаши, Татарку с Ордынкой – до самого южного всполья. Но до сих пор слободы за Москвой-рекой, в Заречье были не похожи на городские. Разделенные рощами, а то и остатками того огромного дремучего леса, в котором когда-то заблудились две, шедшие на соединение рати, дворцовые слободы жили старой, тихой и размеренной жизнью.

Однако, чтобы добраться до этой тишины, надо было сначала пересечь реку по одному из мостов. А там всегда была толкучка, народ конный и пеший, телеги, подводы – все это мерно двигалось – в основном в сторону Кремля. В Заречье же, людской поток быстро рассеивался, разбегался ручейками.

Купив на мосту у торговки пирожков с кашей и грибами, Мануйла направился в Кадаши. Жуя теплые пирожки, он ехал через Среднюю Садовую слободу, напоенную кисловатым духом палых яблок. Расстегнув верхние петли зипуна, он наслаждался свежим ветерком, качавшим золотые ветви берез. Состояние у него было тихое и благодатное. Так он и въехал в Кадаши, разморенный, чуть не зевая. А здесь только старики на завалинках и дети с собаками оживляли ряды потемневших от дождей и времени заборов по обе стороны улицы.

Сыщик ехал молча, молчали и старики на завалинках, провожая его взглядами. Наконец Мануйла нашел наименее дряхлого из них. Наверное, он выбрал его потому, что дед походил на Филофея – старого Мануйлову слугу, жившего на дворе Хитрова. Дед кормил голубей овсом, который черпал из помятого закопченного котелка. Толстые сизари толкались под его ногами, громко переругивались, а один неуверенно топтался прямо на шапке старика.

Мануйла спешился, неторопливо подошел, взбивая тростью пыль дороги и поклонился, спугнув голубя с головы старика.

– А что, отец, тут у вас кого-то ночью прибили? – спросил он громко.

– А тебе что за дело, милый ты мой? – строго ответил старик, – Ты кто?

– Из Разбойного приказа сыщик, – ответил Мануйла.

– Понятно, – пробурчал старик, – тогда поезжай по этой улице до конца. Там в кустах и нашли эту татарочку. Ирка – девчонка Босого пошла до ветру и наткнулась. Мы ее вытащили – татарку эту, смотрим, а у ней голова проломлена. Тогда ребята за караулом сбегали. Вот и все. А больше ничего и не было. И мы не виноваты. С нас денег не берите.

– Спасибо, отец, – поклонился Мануйла, сел на лошадь и поехал вперед, к роковым кустам, сопровождаемый истошным голубиным воркованием.

В конце улицы, где дорога делала плавный поворот направо, густо росла малина. Кусты были истоптаны. Из всей слободы один только малец-дурачок в длинной серой рубахе без пояса стоял и сосал большой палец. Да поодаль девчушка лет пяти играла на скамейке с куклой.

Мануйла снова слез с лошади и, не отпуская узды, подошел к кустам. Он посмотрел по сторонам, пожал плечами, а потом обратился к мальчонке:

– Ну-ка, малой, поддержи коня.

Тот перевел на Хитрого правый глаз. В то время, как левый так и остался смотреть вперед. Не выпуская палец изо рта, парень что-то прочамкал и снова вернулся к созерцанию.

– Он глупый, дядя, – услышал сыщик сзади себя детский голосок. Это подошла девочка, – Это же Митка Дурак. Ты что, не видишь?

– А! – сказал Мануйла, – прости, поначалу не заметил. А ты кто?

– Я Ирка, ты чего не знаешь? Ты не местный? Не наш?

– Ирка! – сказал Мануйла, – ну как же. Это ведь ты тут тетку давеча нашла.

– Ага, мертвую, – с радостью подтвердила девчушка, теребя руками куклу, – Басурманку. Которую богатырь убил.

– Какой богатырь? – заинтересовался Мануйла.

– Алеша Попович. Он по полю ехал, а она навстречу ехала на коне. Он говорит – ах ты поганая басурманка! А она как вытянет стрелу каленую, а он как даст ей по башке топором. Она и упала. И умерла, – торжественно закончила девочка.

– Ага, – кивнул Мануйла, – ну хорошо, что так. А ты сама этого богатыря видела?

– Глупый ты, дядя, – с сожалением произнесла девчонка, – я спала. Это же ночью все было.

– А-а-а! – разочарованно протянул Хитрой, – значит, ты ничего не видела!

– Нет, – честно сказала девочка.

Мануйла поскреб щеку и рассеяно оглянулся на парня в серой рубахе. Тот отошел на шаг и продолжал сосать палец. Правда, теперь другой руки.

– Зато я слышала! – сказала девочка. Мануйла живо повернулся снова к ней.

– Ночью проснулась водички попить. Две лошади топтали в кустах. И дядя какой-то сказал чего-то. А потом они ускакали. Я попила, и спать легла. Вот.

– А ну-ка, – Мануйла залез в карман и вытащил оттуда полушку, – вот, отнеси мамке – это ты честно заработала.

– Чей-то? – спросила девочка, разглядывая монетку.

– Полушка.

Девчонка кивнула, засунула монетку в рот и со всех ног бросилась к калитке, так что только замелькали грязные ее пяточки.

Мануйла подмигнул мальцу, смотревшему одним глазом в небо, а другим в землю. Тот вдруг вынул палец изо рта и сказал:

– Убоюсь и умолча!

– Что? – удивился Мануйла, но пацан снова засунул палец в рот, развернулся и тоже быстро убежал куда-то за заборы странно вихля бедрами.

Хитрой озадаченно пожал плечами. Ведя коня в поводу, он пошел через кусты. Ход оказался протоптан с обеих сторон. Когда кусты кончились, Мануйла увидел на земле вокруг тропы лошадиные следы. А вернее, следы двух лошадей.

Годунов доехал до двора своего дяди, Дмитрия Ивановича через полчаса после разговора со Скуратовым. Над бесчисленными башенками домов внутри Кремля кружились с громким криком стаи птиц, собравшиеся в теплые края. За воротами Годунова-старшего деревянная мостовая превращалась в обстоятельную дорожку, выложенную каменными плитами. Она была тщательно выметена, вся травка, проросшая между плитами – выщипана. Два больших цветника шли вдоль этой дорожки – правда, сейчас цветы уже поникли, облетели, только стебли продолжали торчать из черной жирной земли.

Бориса долго держали за воротами, пока присланный из дома холоп не подтвердил, что Дмитрий Иванович готов принять племянника. Из-за родства, молодого рынду не обыскивали – так, осмотрели в несколько цепких глаз, и пропустили в светлые, недавно срубленные сени, где еще пахло сосновыми досками и смолой.

Посреди сеней стоял большой квадратный стол, устланный тяжелой бордовой скатертью, свисавшей до самого пола, застеленного вытертым ковром. Старший Годунов сидел в одном зипуне синего шелка с мелкими серебряными цветочками, искусно вышитыми его дворовыми девками. Домашнюю тафью из темно-сиреневого бархата с алой опушкой, он сдвинул на одно ухо, отчего вид его казался залихватским. Но как только Борис вошел в сени, Дмитрий Иванович поправил тафью и указал племяннику на стул напротив себя. Борис перекрестился и сел.

Отец Годунова-младшего умер давно и Дмитрий на себя взял как имение, так и опеку над Борисом и его сестрой Ириной. Укрепившись при Дворе, Дмитрий вызвал Бориса в Москву и пристроил к царевичу Федору. В этом было не понятное молодому Бориске придворное тонкое издевательство – Федор считался бесперспективным, всегда жил в тени своего старшего брата Ивана – наследника Московского государства. Впрочем, Борис в дяде ничего теплого и родного не почувствовал. На людях – улыбки. А когда оставались они наедине, у старшего Годунова вся теплота слетала как листья осенью с березы – он становился деловит, сух, иногда покрикивал на Бориса. Но, правду сказать, никогда не бил. Только останавливал на племяннике внимательный вопросительный взгляд, каким обычно вгонял в пот иную царскую прислугу. Будучи постельничим царя, Дмитрий Степанович отвечал за внутреннюю дворцовую охрану, личных телохранителей, отобранных из полка стреленных стрельцов – лучших из лучших служивых людей России, гвардии Ивана IV.

Закончив завтрак, Дмитрий Иванович отослал слуг и сам закрыл за ними внутреннюю дверь. Настоящий разговор начал он издали – спросил как здоровье царевича, поинтересовался Ириной – правдивы ли слухи о том, что Федор Иванович увлекся племянницей. Узнал все новости о службе Бориса у царевича. Потом спросил о самочувствии Скуратова. Борис отвечал подробно, понимая, что утаивать мелочи – значит давать почву для подозрений дяде, который и так все знал – все, что происходило и в Кремле, и в Опричном дворе, стоявшем на другом берегу Неглинки.

– Ну что же, – вздохнул Дмитрий Иванович, – теперь выкладывай, что тебе надо?

Он сложил руки на коленях и опустил голову, показывая, что готов слушать внимательно, не упуская ни одной мелочи, ни одной интонации. Так он обычно садился в пыточной, когда распятый на дыбе узник представлял особый интерес.

– Я по делу Скуратова, – начал Борис. Вообще-то Малюта мог бы и рассердиться за то, что молодой рында вот так, с ходу раскрывает суть их беседы. Но юлить опять-таки не имело смысла – Годунов хотел просить помощи у дяди.

– Хорошо, – кивнул старший Годунов, давая понять, что готов серьезно отнестись к просьбе племянника, как если бы это была просьба самого Бельского.

– Григорий Лукьянович задал одну задачку.

Младший Годунов посмотрел на старшего. Дядя про себя сделал пометку – племянник вырос, смотрит цепко, надо приглядеть за парнем – может еще сам скоро начнет командовать дядей.

– Хочет, чтобы я нашел в Разбойном приказе одного сыщика – Мануйлу Хитрого. И спросил с него по делу об одной убитой татарке.

– А, – неопределенно произнес Годунов-старший, – Которая мужик. Понимаю... И что там такого, что Бельский заинтересовался? Мало ли чего бывает среди бусурман? Далась эта татарка Григорию Лукьяновичу.

– Откуда мне знать? Он мне задание дал – с этим сыщиком познакомиться и присмотреть, как он дело расследует.

– Ну-ну, – сказал Дмитрий Иванович, – Неспроста это, конечно. Где этот покойник переодетый, а где Скуратов! Что-нибудь он тебе еще говорил?

– Да вроде ничего, – ответил Борис, – Так, про Мстиславского поболтали...

Годунов-старший поднял палец и замолчал.

Ввязываться в подковерную борьбу двух влиятельных вельмож он вовсе не хотел. Но игнорировать интерес Малюты в этом деле так же не мог.

– Вот, что я тебе скажу, – наконец обратился он к племяннику, – неправильно тебе самому к этому сыщику идти и выспрашивать. Скажут – с чего бы это зятю Скуратова с Разбойными якшаться? Чей тут интерес?

– Вот как, не подумал я... – расстроился от очевидной мысли Борис, – Что же делать? Задание у меня ясное, а выполнить его...

– Ничего, – сказал Дмитрий Иванович, – Приглядим за твоим сыщиком. Будет чего Григорию Лукьяновичу докладывать. Приходи дня через два – расскажу тебе, что к чему по этому делу.

Борис встал и поклонился. Обидно было – пошел к дяде за помощью, а тот не то, чтобы помог, а просто подставил своего племянника – если Малюта узнает, что задание выполнял не он, а дядины доверенные люди, то еще чего доброго посчитает Бориса никчемным и больше никакого дела ему не доверит. Так что про себя Борис решил – на дядю не полагаться, а все делать самому. Но для этого надо так познакомиться с сыщиком, чтобы у того не возникло подозрения, что это знакомство неспроста.

## Глава 4. Стрелецкая вдова

Вернувшись в Москву, Мануйла вздремнул часок-другой в кровати, потом снова оделся, накинул на плечи легкий кафтан темно-зеленого цвета, шапочку с тонким белым верхом, выбрал трость, рукоять которой была вырезана в виде лебединого крыла, и поехал в приказ.

Город просыпался после обеденного сна. Со стуком отпирались снова широкие ставни лавок. Дремавшие тут же торговцы и их прислуга, зевая и потягиваясь, расправляли ткани или перекладывали глиняную и медную посуду. Рядом баба снимала тонкое белое полотно с куриных тушек – чтобы мухи не загадили. По краям широких дубовых мостовых, по приотптаным сотнями ног обочинам деловито шагали приказные, подьячие, писцы – все спешили прийти раньше начальников, показать усердие. Сами начальники ехали посередине улицы – кто в седле, но больше в закрытых повозках-колымагах, да еще и со свитой. На церковной паперти нищие переругивались с арестантами, которых тюремщик вывел «в мир» за милостыней. И нищие, и арестанты были одинаково оборваны, грязны и завшивлены. Проходящие мимо воротили носы от густого запаха невымытых тел, крестились – кто степенно, а кто и торопливо, небрежно – в Москве церковей столько, что на каждую креститься – лоб треснет.

Сразу за площадью отдельные разрозненные лавки начинали тесниться – сначала слышался гул голосов, говор толпы. Потом показывались острые верхушки разноцветных высоких шатров, палаток, голоса становились звонче – медленный круговорот толпы разбивался на отдельных людей. Торг.

Мануйла придержал коня, крикнул «А ну! Посторонись!» и двинул вперед по Никольской. Над толпой виднелись другие всадники и экипажи, слышался нервный стук небольших сигнальных барабанов, подвязанных к передней луке седла – уступи дорогу.

Хитрому нравился Торг – огромное, ежедневное скопление тысяч разных людей. Здесь можно было встретить и своего брата служивого дворянина в щегольской шапочке с белым или алым пером и яркой золотой застежкой, и хмурого пьяного немца в кургузой одежке, и турка в тюрбане, и бесстыдника фрязина в обтягивающих лосинах, и немецкого вояку на царской службе, и ошалевшего от красок и незнакомого говора шотландца в бабьей юбке, и татар всех краев – ногайцев, сибирцев, казанцев, крымчан.

В детстве он убежал из дома и часами бродил по рядам – суконному, льняному, седельному, посудному – в каждом были свои особые запахи, свои особые звуки и свои обычаи. Торговцы в седельном были люди степенные, основательные, торговались неторопливо, понимая, что хорошее седло – вещь дорогая. А дорогую вещь продаешь долго, с чувством и расстановкой. Покупатели ходили тихо, смотрели, спрашивали о ленчике, щупали кожу, осторожно гнули – проверяя на крепость, прикидывали на стоящих рядом лошадях. Тут густо пахло новой кожей, нагретой на солнце и свежим лошадиным навозом.

Не такая была торговля в гончарном ряду – там толпились хозяйки – бойкие на язык и скорые на шутку. Только что обожженные горшки красным ковром устилали и лавки и места перед ними, стояли друг на друге пирамидами – ходи осторожно! Оттого и лавочники в посудном были как петушки – легкие на ногу, увертливые, бойкие, чтобы бабы замужние, сидящие по своим домам и света белого не видящие, млели.

Бойко шла торговля на посудном. Немало женушек бесстыжих ходило торговаться на зады лавок, пока приставленные к ним ребята выбирали себе сладости на иудин пяточок.

Мануйла поехал не прямо, а сделал крюк – мимо лавки Агафьи, вдовы стрелецкого десятника Романа Микитина. Три года назад муж Агафьи погиб при взрыве пушки. Она осталась одна с тремя детьми. Старший сын уже подрастал и скоро должен был занять место отца – только под этого новика и оставили Агафье двор, принадлежавший покойному мужу, не стали отбирать в Стрелецкий приказ.

Тяжело было Агафье без мужа – детей кормить и лавку держать. Хорошо хоть старший Проха не гулял, не шатался по Москве как его сверстники с утра до ночи, а помогал матери.

Отец с раннего детства обучил его ремеслу резчика по дереву. С утра Проха сидел уже на завалинке избы с острым ножиком в мозолистой руке, обсыпанной жесткими опилками, и скоблил, резал, ковырял ларчики, коробейки и подголовные сундучки. Два раза в неделю – по понедельникам и четвергам мать шла в крохотную лавку, отпирала ее, вытаскивала наружу тяжелую скамью, крыла ее алым полавочником и расставляла сыновью работу.

Мануйла познакомился с ней еще на Пасху – подвыпив с друзьями гулял по торгу и вдруг увидел красивую женщину в простом платке и темном летнике. Огромные глаза глядели спокойно, прямо на Мануйлу. Он остановился и стал рассматривать невозмутимую красавицу. Высокая, с прядкой каштановых волос, выбившихся из-под платка.

Хмель играл в крови Мануйлы, иначе бы он не сделал того, о чем потом столько вспоминал. Постукивая тростью, подошел к красавице и сказал сорвавшимся голосом: «Христос воскрес!»». «Воистине, воскрес», – ответила красавица. Они трижды коснулись щеками, и от запаха ее кожи Мануйла просто обомлел.

– Как тебя звать? – спросил Мануйла.

– Агафья.

– Чья ты жена?

– Вдова.

– Торгуешь здесь?

Агафья спокойно кивнула. Она видела, что произвела впечатление на этого шляхтича – не первой молодости, пожалуй, что ее ровесника.

– Чего продаешь?

Она повела рукой – сам, мол, смотри.

Мануйла почти не глядя, схватил подголовный ларчик и спросил цену. Заплатил не торгуясь. Поклонился и сказал, чтобы ждала – придет еще покупать. Агафья поклонилась в ответ. Так состоялась их первая встреча. Потом были еще – Мануйла приезжал, покупал что-то или просто так стоял, болтал с вдовой. Постепенно узнал, где она живет, узнал про ее покойного мужа и детей. Прихвастывая, рассказал о себе, о своем знаменитом Копырсае из Сущева. Однажды они даже прогулялись по Торгу – правда, недалеко. Проха простудился, и Агафья вынесла на торг все немного, что он успел сделать. Торговля шла плохо, так что она заперла лавку и сходилась с Мануйлой посмотреть на игры скоморохов. Она смеялась, глядя на ужимки переодетых латинянами лицедеев, а Мануйла не отрываясь смотрел на Агафью – в ней вдруг проснулась девчонка, жадная до радости. Ее лицо совсем преобразилось – глаза сияли, кожа щек порозовела.

Мануйла не удержался, привлек Агафью к себе и поцеловал в щеку. Она не оттолкнула. На миг прижалась, а потом позволила проводить до дома. Но на полдороге вдруг распрощалась – то ли не хотела, чтобы в слободе ее увидели с незнакомым мужчиной, то ли опасалась, что Мануйла попросится на ночь.

Хитрой расценил это как признак неожиданной, неоправданной холодности и долгое время объезжал лавку Агафьи стороной. Но вот сегодня не выдержал и завернул. Однако лавка была закрыта. Сначала Мануйла испугался – не случилось ли чего, а потом вспомнил, что сегодня вторник и Агафья осталась дома. Он в сердцах плюнул на землю и поехал дальше.

У Спаса Нерукотворного Мануйла повернул на Богоявленский переулок в сторону Рыбного. Поскольку ветер был с Москвы-реки, вонь от рыбных рядов ударила сыщику в нос задолго до того, как он услышал зазывные крики продавцов, предлагающих и белорыбицу, и омуля, и карасей, и чего только пожелаешь, главное, чтобы это «чего» было с плавниками и хвостом. Хитрой зло пнул лошадь в бока, и постарался проехать мимо лотков с рыбой как можно скорее – насколько позволяла толпа. Его любимыми рядами на Торге были сабельный и лучный. Два раза в год, когда Мануйла получал свое жалование, он шел в эти ряды и выбирал. Он любил подолгу рассматривать, пробовать мечи и сабли из далеких краев, чувствовать в своей руке их тяжесть и балансировку. Любовался на луки, привезенные с востока – натягивал тетиву и слушал, как она гудит. Покупал наконечники или точило для сабли – если старое было совсем стертó. Но до жалования было еще далеко, и сегодня Мануйла мог только с завистью посмотреть на счастливых у оружейных лавок...

Наконец, попав на Варварку, неподалеку от Знаменского монастыря сыщик увидел высокие кремлевские стены, за которыми среди других приказов стоял и его Разбойный приказ – сразу налево от Фроловских ворот.

Моментально забыв об Агафье и своих сердечных делах, Мануйла нашел среди сутолоки и тесноты свободного подъячего Яшку Вола, и надиктовал ему всё сегодняшнее происшествие. Яшка записал все в свиток, аккуратно подклеивая листы и расписываясь на клейках – чтобы никто не смог подделать, вклеить лишние страницы. Всего вышло три листа. Потом умело свернул доклад и сунул его в беленую холщовую сумку.

Дальше дело было уже не Мануйлы, а местных губных властей. По рангу Мануйле Хитрову полагалось расследовать только те дела, которые прикажет сам голова Разбойного.

– Ну что, баба с возу – кобыле легче? – спросил Яшка, бросая свиток ящик, откуда их возьмут целовальники для развоза по губным избам.

– Жаль отдавать, – вздохнул Мануйла, – проще выбросить. Сам же знаешь, губные посмотрят вполглаза, да и сунут дело куда-нибудь подальше.

– А то и в печку, – поддакнул Яшка, – Я знаю. Сам был губным целовальником в Коломне слободе.

– И что делал?

– Ну что – тюрьму сторожил. Паршивое занятие. Спать все время хочется.

– Почему? – спросил Мануйла.

– Да страшно. Если кто сбежит из сидельцев – меня же вместо него и посадят. Но я свой гот оттарабанил, и подался на Москву. Уж как меня уговаривали остаться – всем миром. И денег поболее сулили, и батюшку приводили – нашего, местного, чтобы он меня вразумил. Только я ни в какую! Ночью ушел, так пешком до Москвы и дошел.

Хитрому жалко было отдавать это дело о переодетом татарине заречному губному сотнику – ведь понятно, что тот ничего не разберет. Кого волнует смерть неизвестного татарина? Скоро об этом деле забудут, мертвеца отдадут для похорон единоверцам-басурманам, а сам Мануйла будет в это время охотиться на татей где-нибудь под Тверью или Можайском.

Поболтав с Яшкой, перекинувшись парой слов с друзьями и знакомцами и поняв, что не нужен больше никому, Мануйла отправился домой, где и провел вечер за обычными домашними заданиями – чаркой наливки и игрой в зернь с конюхом на семечки. Он старался не думать об Агафье, но она постоянно возвращалась в мысли сыщика. Игра не шла, и скоро Мануйла пошел спать.

Ближе к ночи в ворота постучал нарочный от головы Разбойного со строгим приказанием срочно прибыть к нему на двор в Китай-городе. Мануйла переделся из домашнего платья в обычный кафтан, накинул серую однорядку, приказал оседлать кобылу и поехал

за нарочным. На темных улицах уже стояли рогатки, и у костров грелась ночная стража. Ближе к Кремлю улицы перегораживали решетками и сторожа ругались, когда приходилось отмыкать большие висячие замки, пропускать проезжих по специальной грамоте и снова запирали за ними.

Мануйлу встретил Лука – доверенный челядин Шапкина. Был Лука высоким, с красивым лицом. Лука славился тем, что все время улыбался – и улыбками своими мог как расположить человека, так и нагнать на него страху. Говорили, что Шапкин дает ему самые опасные и темные поручения. Что в молодости Лука для него зарезал нескольких человек и тем завоевал безграничное доверие хозяина.

Лука улыбнулся Мануйле в полрта и кивнул, приглашая за собой. Боярин Григорий Шапкин, начальник Разбойного, принял сыщика в особой большой комнате, куда ему каждый вечер привозили все отчеты. Дубовый стол без скатерти был завален сегодняшними свитками. Два грубо кованых подсвечника с толстыми восковыми свечами по краям освещали стол, икону на стене в дорогом парамшинском окладе и самого приказного голову. Шапкин был небольшого роста, очень толстый, с редкой черной бородой. Подчиненные за глаза для краткости звали его Шапкой, но при этом уважали и боялись. Боярин сердито сопел и шмыгал заложенным носом.

– Садись, – указал он Мануйле на лавку, покрытую подушкой и синим полавочником, высморкался в большой алый платок и отпил из серебряного кубка. Судя по запаху, это был горячий настой мяты с душицей.

– Ну, – продолжил он, когда Мануйла сел, – и кто тебя подучил сунуть свой нос в мертвецкую?

Лука ухмыльнулся и сел на лавку в углу.

– Никто, – ответил оторопевший Мануйла, – Нил Сорока позвал на татарку мертвую посмотреть.

– Сорока! Добра не помнит! Не сидится ему при мертвецах! – сердито выкрикнул Шапкин, скомкав платок и бросив его на стол, – А ты за ним как мальчик бегаешь?

Мануйла страдальчески закатил глаза. Пламя свечей заметалось от крика головы Разбойного приказа.

– Значит так, – сказал, Шапкин, сипло, – я сегодня Мстиславскому докладывал про наши дела. И он распорядился, чтобы мы сыск по мертвой татарке губным не отдавали. А чтобы я своего лучшего сыщика взял и на это дело поставил. А кто у меня лучший сыщик? Если не считать, конечно, Сороку? А лучший сыщик у меня – это Мануйла Хитрой.

Лука в своем темном углу покивал головой.

Шапкин схватил кубок, но закашлялся и отдернул руку. Успокоившись, снова взялся за кубок и отпил.

– Ну и хорошо, – искренне ответил Мануйла, – губные только все бы испортили и никого не нашли.

– Хорошо? – просипел Шапка, – а знаешь, что Мстиславский впервые сунулся в дела нашего приказа! Впер-вы-е! И дело это опасное. Очень опасное.

– Кому опасное? – удивился снова Мануйла.

– Тебе, дурья ты башка!

Шапкин еще раз, хлюпая носом и прикладываясь к кубку, перечитал донесение, составленное со слов Хитрова. Потом отложил его и прихлопнул своей толстой ладонью с обгрызенными ногтями.

– Значит так, – сказал он, – каждый вечер мне лично будешь докладывать вот в этой комнате. А я уже буду сам голову ломать, что нам делать и чего не делать. Ничего без моего

приказу не предпринимай. Никого без моего ведома не хватай. Никому об этом деле без моего разрешения не рассказывай.

– Ну, можно мне хоть двух человек взять-то, – сказал Мануйла.

– Возьми своих, обычных – Семку и Злобу, – приказал Шапкин и махнул рукой, показывая, что отпускает сыщика. Мануйла поклонился, перекрестился на икону и вышел в сопровождении молчаливого Луки.

Шапкин глотнул из кубка, скривился и мощно высморкал нос в платок. Он далеко не все сказал Мануйле – например, промолчал о том, что делом переодетого басурманина интересовался не только Мстиславский.

## Глава 5. Помощники

На следующее утро Хитрой вызвал своих двух помощников. Первого звали Злобой Истоминым – это был парень огромный как медведь. Вырос он среди псарей еще в Ваганькове. Высокий, басовитый, с первого взгляда он казался совершенным кровопийцей – могучим как бык и тупым как пень. Он мог долго и без всякого выражения смотреть человеку в глаза то сжимая в кулаки, то разжимая свои толстые пальцы. Но это была просто манера общения – если человек Злобе нравился, то уже через минуту на его лице появлялась широкая улыбка, и за мрачной физиономией громилы проглядывал милый и бесхитростный человек. Мануйла иногда брал его с собой в далекие поездки, когда надо было проезжать через опасные места. У Злобы почти и не было никакого оружия – только собственные кулаки, да кистень, торчащий за поясом. Зато вот уж гирька этого кистеня была с небольшую дыньку.

Впрочем, менял он иногда кистень и на рогатину – особенно если старые дружки-псари звали его на медвежьи бои или на Поле. Жалование, выбитое Мануйлой Злобе в приказе, было небольшим. И когда Истомин не был нужен Хитрому, он подрабатывал профессиональным бойцом.

Зимой на льду Москвы-реки ходили стенка на стенку бойцы из разных московских приходов и улиц. Строили снежные крепости и штурмовали, не щадя ни своих, ни чужих. Это все были забавы молодецкие, с кровью, выбитыми зубами и сломанными руками. А то, бывало, и отпевали после таких забав наиболее рьяных или неосторожных участников. И в любые праздники – весной, летом или осенью устраивались так любимые москвичами медвежьи травли. Уж больно похожи они были на римские поганые гладиаторские забавы. Пожалуй, и на местные корриды – хотя, не с таким размахом.

К травле начинали готовиться дня за два. Сначала рыли круговой ров, оставляя только площадку саженой пять в поперечнике. Потом по внешней стороне рва устанавливали часток с наклоном внутрь – чтобы медведь, перемахни он ров, наткнулся бы на острые колья...

Профессиональных бойцов на Москве было немного. Жили они, как правило, вокруг Ваганькова, нанимали их псарями в Кремль. Царские псари на охоте, конечно, занимались своим прямым делом – пускали по следу гончих, кутали в шубы борзых, пока не наступал миг выпускать их из саней. А между охотами псари несли службу в Кремле – водили на поводках волкодавов, охраняя покой царя и царицы. Именно псарям отдал Иван Васильевич старшего Шуйского в юности, когда решил, что настало время брать власть в свои молодые руки. Когда надоело слушать намеки на то, что отцом его был не Василий Иванович всея Руси царь, а Овчина Телепнев – любовник матери, Елены Глинской, литваковской красавицы, наделавшей дел на Москве.

Да, долго царские псари чувствовали себя хозяевами в городе. Хотя стенкой им ходить запрещалось, равно, как и участвовать в остальных городских кулачных забавах, но каждый праздник вспыхивала вдруг где-нибудь в Занеглименье драка с участием этих ваганьковских плечистых мужиков с пудовыми кулаками. Но настал тот несчастливый для Ваганьково день, когда царю его верные псари больше стали не надобны. Однажды зачитали им указ перебираться со всей псарней в сторону Дорогомилова, а слободские их дома сломали, огородили все пространство временным забором и начали строить тот самый Опричный дворец -, аккуратно через реку от Кремля, напротив Боровицкой башни. А псари теперь оказались слишком далеко от Кремля. И хотя их новая слобода тоже называлась теперь Ваганьково, но больше не гремела она на всю Москву.

Бились они и на судебных поединках. На Божьем суде. Много ли Божьего было в том Божьем суде, в Поле? И знал ли вообще Господь, как часто его именем побеждали не те, кто

был прав, а у кого хватало денег на лучшего бойца? Если в суде обе стороны настаивали на своей невинности и целовали на этом крест, то дело решали Подем. На бой выходили либо сами ответчики, либо нанятые ими бойцы. Так что жители нового Ваганькова скоро снова оказались востребованы, благо надзор за ними был уже не такой строгий, как при Василии Ивановиче.

Ходили нововаганьковские бойцы и на медвежью травлю – чтобы поддержать свою личную славу и показать себя возможным нанимателям. Ходили с одной рогатиной и бились до смерти с косматыми мишками.

Медведей было еще много и в подмосковных лесах. Но особо ценились космачи из-под Ярославля, из дремучих северных чащоб.

Но поломал однажды мишка Злобу Истомина. Долго тот лежал у одной знакомой вдовы из Крапивной слободы. Была такая у него женщина – пышная, тихая, ласковая. Он бы к ней посватался, но пока еще добра своего не нажил, а идти на хлебником к хозяйке не хотел. Хотя та и давала понять, что не против – тем более, что можно будет мужа к делу пристроить – таскать тяжелые ящики с землей, в которой и росли тамошние обитатели молодую крапиву круглый год – на свежие щи, да еще и голову помыть от выпадения волос. В общем, выходила вдова Злобу, но слово с него взяла – на медвежью травлю больше не ходить, а найти себе место поприличнее. Злоба пообещал, однако иногда, втайне, подряжался и на Поде, и на медвежью забаву – не только потому, что сила в нем гуляла молодая, да дружки звали наперобой, а еще и потому, что к простой обыденной работе душа у него не лежала. А деньги были нужны. Не с голоду же подыхать в Москве! Вот, однажды, на судебном поединке и познакомился он с Мануйлой, который присматривал себе помощника – с большими кулаками и страшноватого на вид, поскольку сам был слишком мягок, чтобы пугать подследственных. Да и приемы у него, как я говорил, были совсем другие. Вдова, узнав, что Злоба пристроился в приказ, была счастлива.

Второй помощник Мануйла был личностью не менее яркой. Только в другой области. Это был известный на всю Москву бабник и плут Сёмка Литвин. Его дед приехал на Москву еще с Глинскими, в свите знаменитого Михайлы Глинского, дяди царицы Елены. Сёмка уродился красавчиком – соболиные брови взлетят, щечки румяные. Он одевался как лях, а волос не стриг, как полагается всякому русскому человеку, отчего они выбивались из-под щегольской алой шапочки русыми кудрями. Усы Семка подвивал, а подбородок брил. Несколько лет назад Хитрой спас Литвина от смерти, когда того загнал на сосну какой-то яузский мельник, заставший Сёмку со своей женой в бане. Мельник уже собирался лезть на дерево с топором, рубить голого Литвина, но тут на счастье последнего мимо проезжал Хитрой с людьми из Разбойного. Они повалили беснующегося мельника на землю и держали его так от греха подальше, пока Сёмка не слез и не убежал, прикрывая срам одними только дрожащими ладонями. На следующий день Литвин разыскал Мануйлу и отблагодарил кувшином рейнского, который они вдвоем распили на дворе Мануйлы под тонко нарезанную ветчину с ядреным хреном, да добавили еще немного крепкого меда, да потом немного приняли водочки, а затем для веселья выпили самую малость пива. А на следующее утро Мануйла неожиданно для себя обнаружил имя Сёмки, вписанное коряво в списки Разбойного приказа в качестве его помощника. Когда они успели там побывать, с кем говорили и как этого кого-то убедили – никто не помнил. И для самого Литвина это тоже стало неожиданностью. Однако скоро оказалось, что Литвин очень полезен в деле, поскольку он умел быстро разговорить любую бабу.

Утром Мануйла послал за ними сынишку своего конюха. Не прошло и получаса, как оба примчались к Хитрому.

– Никак, Мануйла Ондреевич, дельце намечается, – спросил Сёмка, – а то мы уж засиделись. Всех баб перещупали, все пиво выпили, начали баб по второму разу щупать, так скучно по второму-то!

Злоба только поклонился и ткнул товарища локтем в бок, чтобы перестал болтать за двоих.

Мануйла усадил их за стол во дворе и крикнул яблочного квасу.

– Завтра поедете в Татарку. Обойдете дворы – не пропала ли у кого молодая девка. Или мужик молодой.

– Девка или мужик? – уточнил Злоба.

Мануйла поморщился и рассказал им про переодетого татаркой татарина. Литвин покрутил свой ус, почесал мизинцем затылок через шапочку и крякнул.

– Не мое, конечно, дело, Мануйла Ондреевич, – сказал он как бы смущенно, – Но может тебе все же жениться? А то уж больно у тебя странные дела пошли. Мужик бабой переодетый – это скорее немцы на такое способны. А татары...

– Говорят, Девлетка с Крыма на Москву войной собирается, – сказал Злоба серьезно, – может лазутчика прислал? А его тут по-тихому Годуновские, Дмитрия Ивановича ребята и ухайдакали?

Мануйла отпил из кружки и вытер усы.

– Нет, – сказал он, поставив кружку на доски стола, – Не похоже. Меня ночью Шапка вызывал и сказал, что от Мстиславского пришло указание – это дело расследовать нашим приказом. Если бы лазутчик – его бы Годуновские во дворец забрали. Так что начнем с малого – вдруг это какой блаженный татарин сбежал и его сейчас по всем Татаркам ищут.

– Блаженный татарин? – удивился Злоба, – А разве татары блаженными бывают?

– То другая блажь, не божественная, – сказал Литвин, – Вот когда баба под тобой стонать и вертеться начинает – так прямо как блаженная. Но тут до святости, друг ты мой, далеко!

– Ну, приблизительно, – сказал Мануйла и вдруг снова подумал об Агафье.

Днем Мануйла опять заехал в мертвецкую, поболтать с Сорокой. Он нашел отставного сыщика во дворе – Нил сидел на табурете и строгал деревяшку – мастерил внуку полкана.

– Говорят, наши все Колывань взять не могут, – говорил Нил Сорока, – Сколько же они там стоять будут. Наш царь Магнуса с его ливонцами послал в помощь, а все равно дело не идет.

Магнус был датский принц, приставший ко двору и получивший от Ивана Васильевича отвоєванные ливонские земли в обмен на то, что признал себя вассалом-голдовником русского царя. По указу Грозного Магнус в тот год помогал нашему воеводе Умнову-Кольчеву осаждать Колывань, позднее известную как Таллин.

– Знаю я этого Умнова-Кольчева, – продолжал Сорока, – умного в нем немного. Бестолковый он боярин. Да и Магнус, как мне кажется, тоже не шибко умен. Один стратилат стоит другого. Да ты, я смотрю, меня не слушаешь. Что случилось-то? Рассказывай.

Мануйла рассказал все, что произошло. Посидели молча, обдумывая. Потом Мануйла сказал:

– Я вот чего не понимаю. Рядом Татарка. А мертвеца подкинули в Кадаши. Если бы они его на Татарке бросили – вообще никто бы трепыхаться не стал – там бы свои разобрались – тот же Илейка, местный целовальник. Зачем его везти в Кадаши?

– Ну да, – ответил Нил, выковыривая кончиком ножа грубый узор на игрушке, – конечно. Вся жизнь состоит из глупостей. Мы в них ищем смысл, а смысла нет никакого. Не больно много в нашей жизни смысла. Божье провидение есть, а вот смысла нет. Зачем он нужен, ты мне скажи? Я твое дело в Суцее помню. Ты, конечно, умом блеснул. Но я как старый обыщик тебе скажу – в большинстве преступлений смысла нет. Они случаются либо

от жадности, либо от страха. Вот и все. Если видишь что непонятно – значит ищи жадность или страх. И тогда непонятное быстро проясняется. Твои разбойники, небось, струхнули. Или спешили. Вот и бросили где ни попадя.

– Значит, либо спешили, либо боялись. Либо и то и другое, – задумчиво сказал Хитрой, – А за что тебя, Нил, от сыщиков отставили? Никто ничего не говорит – никто ничего не знает. Был человек и вот уже – среди мертвяков.

– Много будешь знать, скоро состаришься, – буркнул помрачневший Сорока, – Ты лучше заканчивай с этим делом, а то твой покойник скоро у меня завоняет. Осень теплая какая стоит! Не к добру это.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.